

Часть первая

НОЧЬ

Глава первая

ДАНИЛОВ

Не спалось. Данилов встал. Отдернул плотную занавеску и опустил окно. Тяжелая рама бесшумно скользнула вниз. Все в этом поезде было добротное, хорошо пригнанное, долговечное. Приятно взяться за любую вещь.

Ветер влетел в окно. Небо и поля были пепельно-светлые, без красок. Белая ночь. Очень тихо.

Лето в этом году пришло поздно и не было похоже ни на одно другое лето. Днем солнце палило, как на юге, а ночи были холодные. Данилов озяб, стоя у окна. Может быть, он стоял очень долго? Он не знал, долго или нет.

Он надел галифе и сапоги. Эта толстуха в белом сборчатом берете опять поставила ему на ночь ковриковые туфли. Прекрасный был бы вид: галифе с дудками до щиколоток и ковриковые туфли. Интересно, мужа своего она одела бы так?

Он не сделал ни одной уступки ночному времени. Надел гимнастерку и аккуратно затянул скрипучий холодный ремень. И взял фуражку.

Кто-то должен подавать пример команде, черт бы побрал начальника.

В коридоре штабного вагона пепельно светились широкие окна. Пусто. Тихо, по-ночному сиротливо. Небо и поля плыли назад, светлые, без красок. Спит ли начальник? Данилов отодвинул бесшумную дверь купе, взглянул: начальник спал полураздетый, в брючках, в носках, по-детски поджав короткие ножки. Руки его были сложены ладонями и прижаты к подбородку, как будто начальник молился.

Рядом отворилось купе. Ординатор Супругов вышел в коридор, на нем был синий госпитальный халат и ковровые туфли.

— Вы тоже не спите, Иван Егорыч?

— Нет, я спал.

Он солгал, потому что ему не хотелось ни в чем походить на Супругова. Если Супругов не спит, значит, он, Данилов, должен спать. И наоборот.

— Я уже выспался. А вы?

— Мне, знаете, что-то не спится. Непривычная обстановка, должно быть, действует.

— Почему же непривычная? Едем в поезде, и все.

— Да куда едем? — хихикнул Супругов. Отвратительная у него эта манера — хихикать. Хорошие люди улыбаются или смеются громко.

— К фронту едем, товарищ военврач.

С высоты своего прекрасного роста Данилов рассматривал Супругова. Дрейфишь, дрейфишь, доктор. Это тебе не в кабинете пациентов принимать: «Вздыхайте глубже. Вздыхайте еще раз...»

— Можем попасть в переплет, как вы думаете?

— Что же, мы лучше других, что ли? Очень просто можем попасть в переплет.

Супругов поднял робкие глаза. Золотой зуб Данилова блеснул в пепельном свете ночи. Супругов сделал строгое лицо.

— Я не понимаю, — заговорил он другим тоном, быстро и раздраженно. — Такой поезд пускать на фронт — это вредительство. Фаина говорит, от первого разрыва все окна вылетят.

— Какая Фаина?

— Старшая сестра.

— Ее зовут Фаина? — Забытый запах исходит от этого имени, запах мокрых, тяжелых и нежных женских волос. Фу-ты, нашел что вспоминать. Это было почти четверть века назад. Да, двадцать два года. У старшей сестры волосы стриженные и завитые бараном. Туда же — Фаина.

— Это определенно вредительство, — сказал Супругов и сокрушенно закурил.

— Что вы предлагаете? — Скулы Данилова дрогнули. Если бы Супругов всмотрелся, он увидел бы ярость в его светлых глазах. Но Супругов был занят папиросой, которая почему-то потухла, — должно быть, гильза была рваная.

— Повернете стоп-кран? Пошлете молнию наркомму: «Заступитесь за вагоны, их гонят под бомбы»?

Супругов понял, что над ним издеваются. Он ужасно обиделся. В конце концов, он не санитар, он военный врач.

— Я ничего не предлагаю. Но я могу иметь свое мнение. Я так же, как и вы, еду на верную гибель.

— Вы думаете?.. Ну что же, пока мы еще не погибли, я, с вашего разрешения, схожу проверить команду и посты.

Посасывая папиросу, которая опять потухла, Супругов смотрел Данилову вслед. Молодцеватая у комиссара выправка. Супругову стало неловко за свой халат. Он сам виноват, конечно. Не надо набиваться на частные разговоры. С Фаиной, вообще с девушками, еще туда-сюда. Но с комиссаром — ни в коем случае. С таким надо держать ухо востро.

В команде были открыты все окна с правой стороны, и все-таки было душно. Быстро обжили вагончик. У девушек над полками висели зеркальца, куколки и карточки милых. Не завели бы клопов за карточками милых. Придется проследить.

С краю внизу спала Лена Огородникова, смешная маленькая женщина, похожая на мальчишку, который по-малкивает, а про себя затевает какое-то озорство. У нее и во сне было такое лицо, словно ее смешили. Зеркальце в форме палитры поблескивало у нее над изголовьем. Мальчишка, значит, тоже смотрится в зеркало. Против Лены, разметав могучие руки, бурно дышала и всхрапывала Ия, — дадут же любящие родители такое имя дочери. Молодцы девушки — все как одна в мужских трикотажных рубашках или майках; в женской сорочке ни одной. Третьего дня он застал Ию спящей с оголенными плечами: растолкал и дал внеочередной наряд. Что за распушенность. Девушка должна быть стыдливой.

Вагоны были готовы к приему раненых. Койки с синими байковыми одеялами щеголевато заправлены. На несмятых подушках — полотенца, сложенные треугольником.

Пахло серой, щелоком, лаком и тем неуловимым, безыменным запахом, который присущ вагонам и во-

кзалам и не уничтожается ни окраской, ни дезинфекцией.

Эти обыкновенные «жесткие» вагоны предназначались для легкораненых. В каждом дежурил боец. Стоило стукнуть дверью, и навстречу двигалась темная фигура с винтовкой, с огоньком папиросы во рту.

Курить в вагонах запрещено; но Данилов не сделал замечания ни одному дежурному. Человек — не машина. Поезд шел к фронту, как знамя он нес свои красные кресты. Никто в поезде не надеялся, что эти кресты послужат им защитой. Каждый знал, что именно по красным крестам и будет бить враг.

В девятом вагоне дежурил Сухоедов, низкорослый человек с квадратными плечами и большой головой без шеи. Он был старше всех в поезде, кроме начальника. Данилов знал, что Сухоедов в свое время бил Юденича, в финскую кампанию пошел на фронт добровольцем и был ранен. 22 июня, в день объявления войны, явился на призывной пункт и потребовал, чтобы его направили в действующую армию. Ни по годам, ни по здоровью он не подходил для строевой службы. Его послали в санитарный поезд. Вид у него был горько обиженный, словно его обошли наградой. В мирное время он работал на подмосковной шахте. В морщины его лица въелась угольная пыль. Детски лазоревыми казались на этом лице ясные голубые глаза.

Сухоедов стоял у окна и не пошел навстречу Данилову, только на секунду повернул голову и поманил пальцем. Данилов подошел. Вид у Сухоедова был нео-

бычный. Ни обиды, ни горечи. Вид охотника, идущего по следу зверя.

— Вот он где, видишь ты? — тихо спросил он.

На горизонте, за низкой темной полоской далекого леса, шевелился какой-то свет. И вдруг шагнул в небо луч прожектора и задвигался влево и вправо, неторопливый, беззвучный, неяркий. И другой луч шагнул откуда-то сбоку, лучи скрестились, замерли на мгновение и разошлись, шаря в небе.

— Его ищем! — сказал Сухоедов строго. — Ты ничего не слышишь?

— Ничего не слышу.

Сухоедов помолчал, вслушиваясь.

— Лупит, — сказал он нехотя. — Ох, здорово где-то лупит... — И, вытащив из кармана кiset, стал скручивать папироску.

— Куришь? — спросил он, протягивая кiset Данилову.

— Нет, не курю.

— Это, между прочим, правильно, — сказал Сухоедов. — От табака нападает по утрам такой кашель — не дай бог. И на фронте тому, кто не курит, в два раза легче: целая громадная забота с плеч — не думать о табаке. Ты не приучайся. Приучишься — конец.

Данилов усмехнулся.

— Тридцать восемь лет прожил — не соблазнился; теперь уж не закурю.

Сухоедов ребячески удивленно поднял брови:

— Да неужели тебе тридцать восемь?

— Тридцать девятый весной пошел.

— Молодо выглядишь, — задумчиво сказал Сухоедов, разглядывая Данилова. — Я бы тебе тридцать

дал, ну — тридцать два от силы. Жизнь, что ли, легкая была?

— Легкая или нет — не знаю, — ответил Данилов, — но хорошая была жизнь у меня, я таких жизней еще штук сто бы прожил и не устал.

Они помолчали. И странно сказал Сухоедов:

— Тебя не убьют.

Лучи за окном опять скрестились, стали неподвижно, косым крестом.

Данилов и сам знал, что его не убьют. Не может его жизнь так вот просто взять и оборваться. Все только начато, ничто не закончено. Только отложено на время. Кончено только с Фаиной. А может, — чем черт не шутит, — и ее когда-нибудь он еще повстречает. Станет перед ним, выгнув спину, закинув голову, встряхнет тяжелыми мокрыми волосами... «Расчеши их, Ваня», — скажет... Глупости, ребячий вздор, в котором никому нельзя сознаться, даже себе.

За вагонами для легкораненых шел вагон-аптека. Почему он так назван — неизвестно. Аптека занимала в нем маленькое купе. Остальные помещения были приспособлены под перевязочную, душевую и вентиляционную. В служебном купе стоял письменный стол для медицинского секретаря. Такая должность была в списке персонала. Человека с этим званием в поезде не было. Данилов не знал, что должен делать медицинский секретарь, и никто не знал; поэтому при укомплектовании штата Данилов попросту никого на эту должность не назначил.

Вагон-аптека был любимым вагоном Данилова. Он с первого взгляда влюбился в его белизну, никель, ли-

нолеум, в герметические двери, в откидные столики и стулья, прилаженные к стенам. Чистота и удобство были страстью Данилова. Он относился к любимому вагону ревниво. Платком тер оконные стекла — нет ли пыли. Аптекарьша в первый же день ухитрилась пролить йод на голубовато-белый, только что выкрашенный стол. Данилов, увидев пятно, побледнел от огорчения. Клава Мухина, санитарка, сбивалась с ног, поддерживая эту невозможную, стерильную чистоту, которой требовал комиссар.

И сейчас Клава была в душевой. Стоя у стола, низко наклонив темно-рыжую голову в чалме из марли, она собирала в оборку бинт. Окна были занавешены, горела лампочка.

— Что вы делаете? — спросил Данилов.

Она повернула к нему белое, в крупных веснушках, доброе и сонное лицо.

— Абажур, — сказала она с усталым вздохом.

— Еще один? На лампочку?

— Нет. На точку.

— На какую точку?

— Душевую.

Она была сонная и объясняла невнятно, но он понял, и ему понравилась затея.

— Ага! — сказал он. — Когда душевые точки не действуют, на них надевают абажуры, чтоб было красиво, так?

— Да, — ответила она, — только жалко, что марля. Лучше шелк. Голубой или розовый.

— Да, конечно, шелк лучше, — усмехнулся он. — Но шелка, Клаша, нет. А бинт можно покрасить синькой — будет голубой.

— А то еще, знаете, если бы красные чернила, — сказала Клава и доверчиво посмотрела ему в лицо. — Развести водой — будет розовая краска.

— Купим красных чернил, — обещал Данилов. — До первого магазина доберемся — сейчас же купим.

Рыжая девочка развеселила его. Он шел гремучими переходами и улыбался.

Кригеровские вагоны для тяжелораненых: никаких перегородок, просторно, как в палате. Белая краска. Три яруса подвесных коек с каждой стороны. Висячие шкафчики. Шезлонги. Здесь чувствовался госпиталь. Почему-то хотелось поскорее пройти мимо этих подвесных коек с боковыми сетками, как у детских кроватей.

И вот хвостовой вагон-изолятор, простой вагон, в конце которого помещается электростанция. Сюда и направлялся Данилов, здесь была главная цель его обхода, здесь он чуял беду.

Дежурного в изоляторе он не встретил.

Он постоял у двери электростанции: голоса, но ничего не слышно толком, мешает шум колес. В общем, тише, чем он думал.

Он отворил сразу. Никто не испугался, встал только дежурный боец Горемыкин, остальные продолжали сидеть. Кравцов, машинист электростанции, передвинул папиросу в угол рта, шлепнул картой по столу и сказал:

— Бью и наваливаю.

— Врешь, трефы козыри, — сказал вагонный мастер Протасов и тоже положил карту.

Молодой электромонтер Низвецкий вдруг сконфузился и встал.

Эти все, кроме Горемыкина, были специалисты высокой квалификации — самый трудный народ. А Кравцов, кроме того, был вольнонаемный.

— Бутылочек ищите, товарищ комиссар? — сказал Кравцов, наблюдая Данилова. — Не трудитесь, бутылочки — тю-тю!

Он махнул рукой. Веки у него были красные, взгляд мутный.

Данилов сел на табурет и задумался. И специалисты замолчали, глядя на него, лица их стали озабоченными и серьезными. Горемыкин, за спиной Данилова, крадучись, виновато вышел, бережно прикрыл дверь... С Горемыкиным все ясно. С Горемыкиным — известный разговор. И этих трех он, Данилов, мог бы арестовать. Нарезались, сукины дети. Он еще днем, в Вологде, подметил, что они бегали и шушукались... Арестовать недолго. А дальше что?

— Сдай-ка, ну? — сказал Данилов встревоженному и бледному Низвецкому. — В подкидного дурака сдай.

Он сыграл с ними партию вдумчиво и истово, внимательно следя за игрой, приоткрыв маленький высокомерный рот, в котором блестел золотой зуб. Выиграл и встал.

— Вот как играть надо. Довольно, или танцы до утра?

Кравцов и Протасов хмуро молчали. Низвецкий сказал неуверенно:

— Да нет, поспать надо.

— Ну, пойдем, — сказал Данилов.

Низвецкий шел за ним по вагонам, тоскливо ожидая разговора. Данилов молчал и не оглядывался. Он отворял двери — Низвецкий закрывал их. Громыхали

колеса на переходах. Уже настоящая ночь накрыла мир, небо вызвездило, скоро утро.

В вагоне-аптеке Клава, сонно сопя, примеряла на душ абажур из оборочек.

— Смотри, что она придумала, — сказал Данилов Низвецкому. — Уют наводит. Погоди, она тут наделает такое голубое и розовое... Слушай! Я хочу здесь сделать радиоточку. Раненый придет на перевязку, посидит тут, послушает. Займешься?

— Можно, — пробормотал Низвецкий.

Данилов оглядывал его. Интеллигентный вид у парня, одет чисто, видно, что привык носить хорошую одежду.

— Что у тебя? — спросил он. — Почему тебя не взяли в строй?

— Геморрой, — отвечал Низвецкий, густо краснея. Данилов удивился.

— Смотри, какую нажил стариковскую болезнь! А хотел бы в строй?

— Я шесть лет служил в поезде Москва — Владивосток, — сказал Низвецкий, волнуясь. — Я бы мог продолжать там служить, меня никто не трогал. Я сам попросился в санитарный поезд. Чтобы хоть чем-нибудь...

— А в санитарном поезде, — сказал Данилов, — дисциплина не меньше, чем в строю. И даже так я тебе скажу: что можно фронтовому человеку, то нам нельзя. Мы должны быть ангелы. Херувимы и серафимы, да. Мы — братья и сестры милосердия... Этой водки, будь она проклята, — сказал он тихо и страстно, сжав кулаки, — не будет в поезде в самое ближайшее время, я тебе ручаюсь.